

Максим Горький

О вреде философии

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Максим Горький

О вреде философии / Максим Горький – М.: Книга по Требованию, 2011. – 94 с.

ISBN 978-5-4241-2703-8

Один из самых популярных авторов рубежа XIX и XX веков, прославившийся изображением романтизированного деклассированного персонажа («босняка»), автор произведений с революционной тенденцией, лично близкий социал-демократам, находившийся в оппозиции царскому режиму, Горький быстро получил мировую известность.

ISBN 978-5-4241-2703-8

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Горький Максим
О вреде философии

А.М.Горький

О вреде философии

... Я давно уж почувствовал необходимость понять - как возник мир, в котором я живу, и каким образом я постигаю его. Это естественное и - в сущности - очень скромное желание, незаметно выросло у меня в neodолжимую потребность и, со всей энергией юности, я стал настойчиво обременять знакомых "детскими" вопросами. Одни искренно не понимали меня, предлагая книги Ляйэля и Леббока; другие, тяжело высмеивая, находили, что я занимаюсь "ерундой"; кто-то дал "Историю философии" Льюиса; эта книга показалась мне скучной, - я не стал читать ее.

Среди знакомых моих появился странного вида студент в изношенной шинели, в короткой синей рубашке, которую ему приходилось часто одергивать сзади, дабы скрыть некоторый пробел в нижней части костюма. Близорукий, в очках, с маленькой, раздвоенной бородкой, он носил длинные волосы "нигилиста"; удивительно густые, рыжеватого цвета, они опускались до плеч его прямыми, жесткими прядями. В лице этого человека было что-то общее с иконой "Нерукотворенного Спаса". Двигался он медленно, неохотно, как бы против воли; на вопросы, обращенные к нему, отвечал кратко и не то угрюмо, не то - насмешливо. Я заметил, что он, как Сократ, говорит вопросами. К нему относились неприязненно.

Я познакомился с ним, и, хотя он был старше меня года на четыре, мы быстро, дружески сошлись. Звали его Николай Захарович Васильев, по специальности он был химик.

Прекрасный человек, умник, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин - весьма вкусное лакомство, а главное - полезен, укрощает буйство "инстинкта рода". Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый калий и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор - суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал:

- Лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей. Вам эта штука тоже не пройдет даром, будьте уверены.

Этими опытами Николай испортил себе зубы, все они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все-таки тем, что - намеренно или нечаянно - отравился в 1901 году в Киеве, будучи ассистентом профессора Коновалова и работая с индигоидом.

В 89 - 90 годах это был крепкий, здоровый человек, чудаковато-забавный и веселый наедине со мною, несколько ехидный в компании. Помню - мы взяли в земской управе какую-то счетную работу, - она давала нам рубль в день, - и вот Николай, согнувшись над столом, поет нарочито-гнусным тенорком на голос "Смотрите здесь - смотрите там".

Сто двадцать три И двадцать два Сто сорок пять Сто сорок пять!

Поет десять минут, полчаса, еще поет, - теноришко его звучит все более гнусно. Наконец - прошу:

- Перестань.

Он смотрит на стенные часы и - говорит:

- У тебя очень хорошая нервная система. Не всякий выдержит спокойно такую пытку в течение сорока семи минут. Я одному знакомому медику "Алилуйю" пел, так он на тринадцатой минуте чугунной пепельницей бросил в меня. А готовился он на психиатра...

Николай постоянно читал немецкие философские книги и собирался писать сочинение на тему: "Гегель и Сведенборг". Гегелева феноменология духа воспринималась им как нечто юмористическое; лежа на диване, который мы называли Кавказским хребтом, он хлопал книгой по животу своему, дрыгал ногами и хохотал почти до слез.

Когда я спросил его: над чем он смеется - Николай, сожалея, ответил:

- Не могу, брат, не сумею объяснить тебе это, уж очень суетливая штука. Ты - не поймешь. Но, знаешь ли, - забавнейшая история.

После настойчивых просьб моих он долго, с увлечением говорил мне о "мистике разумного". Я, действительно, ничего не понял и был весьма огорчен этим.

О своих занятиях философией он говорил:

- Это, брат, так же интересно, как семечки подсолнуха грызть, и приблизительно - так же полезно.

Когда он приехал из Москвы на каникулы, я, конечно, обратился к нему с "детскими" вопросами и этим очень обрадовал его.

- Ага, требуется философия, превосходно. Это я люблю. Сия духовная пища будет дана тебе в потребном количестве.

Он предложил прочесть для меня несколько лекций.

- Это будет легче и, надеюсь, приятнее для тебя, чем сосать Льюиса.

Через несколько дней, поздно вечером, я сидел в полуразрушенной беседке заглохшего сада; яблони и вишни в нем густо обросли лишаями, кусты малины, смородины, крыжовника, густо разрастись, закрыв дорожки тысячью цепких веток; по дорожкам бродил в сером халате, покашливая и ворча, отец Николая, чиновник духовной консистории, страдавший старческим слабоумием.

Со всех сторон возвышались стены каких-то сараев, сад помещался как бы на дне квадратной черной ямы, и чем ближе подходила ночь, тем глубже становилась яма. Было душно, со двора доносился тяжкий запах помоев, хорошо нагретых за день жарким солнцем июня.

- Будем философствовать, - говорил Николай, причмокивая и смакуя слова. Он сидел в углу беседки, облокотясь на стол, врытый в землю. Огонек папиросы, вспыхивая, освещал его странное лицо, отражался в стеклах очков. У Николая была лихорадка, он зябко кутался в старенькое пальто, шаркал ногами по земляному полу беседки, стол сердито скрипел.

Я напряженно слушал пониженный голос товарища. Он интересно и понятно изложил мне систему Демокрита, рассказал о теории атомов, как она принята наукой, потом вдруг сказал - "подожди" - и долго молчал, курая папиросу за папиросой.

Уже ночь наступила, ночь без луны и звезд; небо над садом было черно, духота усилилась, в соседнем доме психиатра Кашенко трогательно пела виолончель, с чердака, из открытого окна доносился старческий кашель.

- Вот что, брат, - заговорил Николай, усиленно курая и еще более понизив голос, тебе следует отнестись ко всем этим штукам с великой осторожностью! Некто, -

забыл кто именно, - весьма умно сказал, что убеждения просвещенных людей так же консервативны, как и навыки мысли неграмотной, суеверной массы народа. Это еретическая мысль, но в ней скрыта печальная правда. И выражена она еще мягко, на мой взгляд. Ты прими эту мысль и хорошенько помни ее.

Я хорошо помню эти слова, вероятно, самого лучшего и дружески искреннего совета из всех советов, когда-либо данных мне. Слова эти как-то пошатнули меня, отозвались в душе гулко и еще более напрягли мое внимание.

- Ты - человек, каким я желаю тебе остаться до конца твоих дней. Помни то, что уж чувствуешь: свобода мысли - единственная и самая ценная свобода, доступная человеку. Ею обладает только тот, кто, ничего не принимая на веру, все исследует, кто хорошо понял непрерывность развития жизни, ее неустанное движение, бесконечную смену явлений действительности.

Он встал, обошел вокруг стола и сел рядом со мною.

- Все, что я сказал тебе - вполне умещается в трех словах: живи своим умом! Вот. Я не хочу вбивать мои мнения в твой мозг; я вообще никого и ничему не могу учить, кроме математики, впрочем. Я особенно не хочу именно тебя учить, понимаешь. Я рассказываю. А делать кого-то другого похожим на меня, это, брат, по-моему, свинство. Я особенно не хочу, чтобы ты думал похоже на меня, это совершенно не годится тебе, потому что, брат, я думаю плохо.

Он бросил папиросу на землю, растоптав ее двумя слишком сильными ударами ноги. Но тотчас закурил другую папиросу и, нагревая на огне спички ноготь большого пальца, продолжал, усмехаясь невесело:

- Вот, например, я думаю, что человечество до конца дней своих будет описывать факты и создавать из этих описаний более или менее неудачные догадки о существовании истины или же, не считаясь с фактами - творить фантазии. В стороне от этого - под, над этим - Бог. Но - Бог - это для меня неприемлемо. Может быть, он и существует, но - я его не хочу. Видишь - как нехорошо я думаю. Да, брат... Есть люди, которые считают идеализм и материализм совершенно равноценными заблуждениями разума. Они - в положении чертей, которым надоел грязный ад, но не хочется и скучной гармонии рая.

Он вздохнул, прислушался к пению виолончели.

- Умные люди говорят, что мы знаем только то, что думаем по поводу видимого нами, но не знаем - то ли, так ли мы думаем, как надо. А ты - и в это не верь! Ищи сам...

Я был глубоко взволнован его речью, - я понял в ней столько, сколько надо было понять для того, чтоб почувствовать боль души Николая. Взяв друг друга за руки, мы с минуту стояли молча. Хорошая минута! Вероятно - одна из лучших минут счастья, испытанного мною в жизни. Эта жизнь, достаточно разнообразная, могла бы дать мне несколько больше таких минут. Впрочем - человек жаден. Это одно из его достоинств, но - по недоразумению, а, вернее, по лицемерию - оно признается пороком.

Мы вышли на улицу и остановились у ворот, слушая отдаленный гром. По черным облакам скользили отблески молнии, а на востоке облака уже горели и плавились в огне утренней зари.

- Спасибо, Николай!

- Пустяки.

Я пошел.

- Слушай-ка, - весело и четко прозвучал голос Николая, - в Москве живет нечаевец Орлов, чудесный старикан. Так он говорит: - Истина - это только мышление о ней. - Ну, иди. До завтра.

Пройдя несколько шагов, я оглянулся. Николай стоял, прислонясь к столбу фонаря, и смотрел на небо, на восток. Синие струйки дыма поднимались над копной его волос. Я ушел от него в прекрасном лирическом настроении, - вот передо мною открываются "врата великих тайн"!

Но на другой день Николай развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора: Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал.

Так же, как накануне, был поздний вечер, а днем выпал проливной дождь. В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени, по небу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды, бегущие стремительно.

Я видел нечто неописуемо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой на-бок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человечьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьев, точно огромные пауки, а ветки и листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают над ними; вот бежит окрыленная нога верблюда, а вслед за нею стремительно несется рогатая голова совы, - вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно.

В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел, величественно движутся, противоборствуя друг другу, Ненависть и Любовь, неразлично подобные одна другой, от них изливается призрачное, голубоватое сияние, напоминая о зимнем небе в солнечный день, и освещает все движущееся мертвенно-однотонным светом.

Я не слушал Николая, поглощенный созерцанием видения и как бы тоже медленно вращаясь в этом мире, изломанном на куски, как будто взорванном изнутри и падающем по спирали в бездонную пропасть голубого, холодного сияния. Я был так подавлен видимым, что, в оцепенении, не мог сразу ответить на вопросы Николая:

- Ты уснул? Не слушаешь?

- Больше не могу.

- Почему?

Я объяснил.

- У тебя, брат, слишком разнузданное воображение, - сказал он, закуривая папиросу. - Это не очень похвально. Ну, что ж, пойдем гулять?

Пошли на "Откос", по улице, вдоль которой блестели лужи, то являясь, то исчезая. Тени торопливо ползли по крышам домов и земле.

Николай говорил, что тряпку на бумажных фабриках нужно белишь хлористым натром, - это лучше и дешевле. Потом рассказывал о работе какого-то профессора, который ищет, как удлинить древесное волокно.

А предо мною все плавали оторванные руки, печальные чьи-то глаза.

Через день Николая вызвали телеграммой в Москву, в университет, и он уехал, посоветовав мне не заниматься философией до его возвращения.

Я остался с тревожным хаосом в голове, с возмущенной душой, а через несколько дней почувствовал, что мозг мой плавится и кипит, рождая странные мысли, фантастические видения и картины. Чувство тоски, высасывающей жизнь, охватило меня, и я стал бояться безумия. Но я был храбр, решил дойти до конца страха, - и, вероятно, именно это спасло меня.

Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на "Откосе", глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд и - вдруг начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое, черное пятно, как отверстие бездонного колодца. А из него высунется огненный палец и погрозит мне.

Или - по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды млечного пути сольются в огненную реку, и вот - сейчас она низринется на землю.

Вдруг, на месте Волги, развала серую пасть бездонная щель, и в нее отовсюду сбегались, играя, потоки детей, катились бесконечные вереницы солдат с оркестрами музыки впереди, крестным ходом, текли толпы народа со множеством священников, хоругвей, икон, ехали неисчислимые обозы, шли миллионы мужиков, с палками в руках, котомками за спиной, - все на одно лицо; туда же, в эту щель, всасывались облака, втягивалось небо, колесом катилась изломанная луна и вихрем сыпались звезды, точно медные снежинки.

Я ожидал, что широкая плоскость лугов начнет свертываться в свиток, точно лист бумаги, этот свиток покатится через реку, всосет воду, затем высокий берег реки тоже свернется, как береста или кусок кожи на огне, и, когда все видимое превратится в черный свиток, - чья-то снежно-белая рука возьмет его и унесет.

Из горы, на которой я сидел, могли выйти большие черные люди с медными головами, они тесной толпой идут по воздуху и наполняют мир оглушающим звоном, - от него падают, как срезанные невидимой пилой, деревья, колокольни, разрушаются дома; и вот все на земле превратилось в столб зеленовато-горящей пыли, осталась только круглая, гладкая пустыня и, посреди - я, один на четыре вечности. Именно - на четыре, я видел эти вечности, - огромные, темно-серые круги тумана или дыма, они медленно вращаются в непроницаемой тьме, почти не отличаясь от нее своим призрачным цветом.

Видел я Бога, - это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах, - благообразный, седобородый, с равнодушными глазами, одиноко сидя на большом, тяжелом престоле, он шьет золотую иглою и голубой ниткой чудовищно длинную белую рубаху, она опускается до земли прозрачным облаком. Вокруг Бога - пустота, и в нее невозможно смотреть без ужаса, потому что она непрерывно и безгранично ширится, углубляется.

За рекою, на темной плоскости вырастает, почти до небес, человечье ухо, обыкновенное ухо, с толстыми волосами в раковине, - вырастает и - слушает все, что думаю я.

Длинным, двуручным мечом средневекового палача, гибким как бич, я убивал бесчисленное множество людей, они шли ко мне справа и слева, мужчины и женщины, все нагие; шли молча, склонив головы, покорно вытягивая шеи. Сзади

меня стояло неведомое существо, и это его волей я убивал, а оно дышало в мозг мне холодными иглами.

Ко мне подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее груди исходили золотые лучи; вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув точно клок ваты, я исчезал.

Ночной сторож Ибрагим Губайдуллин, несколько раз поднимал меня на верхней аллее "Откоса" и отводил домой, ласково уговаривая:

- Засэм гуляйш больной? Больной - лежать дома нада...

Иногда, измученный бредовыми видениями, я бежал к реке и купался, - это несколько помогало мне.

А дома меня ожидали две мыши, прирученные мною. Они жили за деревянной обшивкой стены; в ней, на уровне стола, они прогрызли щель и вылезали прямо на стол, когда я начинал шуметь тарелками ужина, оставленного для меня квартирной хозяйкой.

И вот я видел: забавные животные превращались в маленьких, серых чертенят и, сидя на коробке с табаком, болтали мохнатыми ножками, важно разглядывая меня, в то время, как скучный голос, - неведомо чей - шептал, напоминая тихий шум дождя:

- Черты делятся на различные категории, но общая цель всех - помогать людям в поисках несчастий.

- Это - ложь! - кричал я, озлобляясь. - Никто не ищет несчастий...

Тогда являлся Никто. Я слышал, как он гремит щеколдой калитки, отворяет дверь крыльца, прихожей и - вот он у меня в комнате. Он - круглый, как мыльный пузырь, без рук; вместо лица у него - циферблат часов, а стрелки из моркови; к ней у меня с детства идиосинкразия. Я знаю, что это - муж той женщины, которую я люблю, он только переоделся, чтоб я не узнал его. Вот он превращается в реального человека, толстенького, с русой бородой, мягким взглядом добрых глаз; улыбаясь, он говорит мне все то злое и нелестное, что я думаю о его жене и что никому, кроме меня, не может быть известно.

- Вон! - кричу я на него.

Тогда за моей спиной раздается стук в стену, - это стучит квартирная хозяйка, милая и умная Фелицата Тихомирова. Ее стук возвращает меня в мир действительности, я обливаю голову холодной водой и через окно, чтоб не хлопнуть дверьми, не беспокоить спящих, вылезаю в сад, - там сижу до утра.

Утром, за чаем хозяйка говорит:

- А вы опять кричали ночью...

Мне невыразимо стыдно, я презираю себя.

В ту пору я работал как письмоводитель у присяжного поверенного А. И. Ланина, прекрасного человека, которому я очень многим обязан. Однажды, когда я пришел к нему, он встретил меня, бешено размахивая какими-то бумагами и крича:

- Вы - с ума сошли! Что это вы, батенька, написали в апелляционной жалобе? Извольте немедленно переписать, - сегодня истекает срок подачи. Удивительно! - Если это - шутка, то - плохая, я вам скажу!

Я взял из его рук жалобу и прочитал в тексте ее четко написанное четверостишие:

- Ночь бесконечно длится. Муке моей нет меры! Если б умел я молиться!

Если бы знал счастье веры!

Для меня эти стихи были такой же неожиданностью, как и для патрона; я смотрел на них и почти не верил, что это написано мною.

Вечером, за работой, А. И. подошел ко мне, говоря:

- Вы извините, я накричал на вас! Но, знаете, - такой случай... Что с вами? Последнее время на вас лица нет, и похудели вы ужасно.

- Бессонница, - сказал я.

- Надо полечиться.

Да, надо было что-то делать. От этих видений и ночных бесед с разными лицами, которые, неизвестно как, появлялись предо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем, при свете солнца напряженно ожидал чудесных событий.

Наверное я не очень удивился бы, если б любой дом города вдруг перепрыгнул через меня. Ничто, на мой взгляд, не мешало лошади ломового извозчика, встав на задние ноги, провозгласить глубоким басом:

- Анафема!

Или вот на скамье у бульвара, у стены Кремля, сидит женщина в соломенной шляпе и желтых перчатках. Если я подойду к ней и скажу:

- Бога нет!

Она удивленно, обиженно воскликнет:

- Как? А - я?

Тотчас превратится в крылатое существо и улетит, - вслед за тем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев, с их ветвей и стволов будет капать жирная, синяя слизь, а меня, как уголовного преступника, приговорят быть двадцать три года жабой и чтоб я, все время, день и ночь, звонил в большой, гулкий колокол Вознесенской церкви.

Так как мне очень, нестерпимо хочется сказать даме, что Бога нет, но я хорошо вижу, каковы будут последствия моей искренности, - я, как можно скорее, стороной, почти бегом - ухожу.

Все - возможно. И возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукой до заборов, стен, деревьев. Это несколько успокаивает. Особенно - если долго бить кулаком по твердому, - убеждаешься, что оно существует.

Земля - очень коварна: идешь по ней так же уверенно, как все люди, но вдруг ее плотность исчезает под ногами, земля становится такой же проницаемой как воздух, оставаясь темной, - и душа стремглав падает в эту тьму бесконечно долгое время, - оно длится секунды.

Небо - тоже ненадежно; оно может в любой момент изменить форму купола на форму пирамиды вершиной вниз, острие вершины упрется в череп мой, и я должен буду неподвижно стоять на одной точке, до той поры, пока железные звезды, которыми скреплено небо, не перержавеют; тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня.

Все возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей.

Душа моя сильно болела. И если б, два года тому назад, я не убедился личным опытом, как унизительна глупость самоубийства, - наверное, применил бы этот способ лечения больной души.

...Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену, странно белой рукой, сказал:

- Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете. По комплекции вашей, вы человек здоровый, и - стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин - как? Ну, это тоже не годится. Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее к любовной игре, - это будет полезно.

Он дал мне еще несколько советов, одинаково неприятных и неприемлемых для меня, написал два рецепта, затем сказал несколько фраз, очень памятных мне.

- Я кое-что слышал о вас, и - прошу извинить, если это не понравится вам - вы кажетесь мне человеком, так сказать, первобытным. А у первобытных людей фантазия всегда преобладает над логическим мышлением. Все, что вы читали, видели, - возбуждало у вас фантазию, а она - совершенно непримирима с действительностью, которая хотя тоже фантастична, но - на свой лад. Затем: один древний умник сказал: "Кто охотно противоречит, тот не способен научиться ничему дельному". Сказано - хорошо. Сначала изучить, потом - противоречить, - так и надо.

Провожая меня, он повторил с улыбкой веселого чорта:

- А - бабеночка очень полезна для вас.

Через несколько дней я ушел из Нижнего в Симбирскую колонию толстовцев и, придя туда, узнал - от крестьян - трагикомическую историю ее разрушения.

Итак - я еду учиться в Казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю "исключительными способностями к науке".

- Вы созданы природой для служения науке, - говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам "кое-какие" экзамены он так и говорил: "кое-какие" - в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду "ученым". Все - очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала:

- Ты - не сердись на людей, ты сердись все, строг и заносчив стал. Это - от деда у тебя, а что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты - одно помни: не бог людей судит, это - чорту лестно. Прощай, ну...

И отирая с бурых, дряблых щек скупые слезы, она сказала:

- Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я - помру...

За последнее время я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут,